

НОРМА ОТКЛОНЕНИЯ



Александр Власов

Норма отклонения

<https://litres.ru/74173923>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Норма отклонения»

Мир, где не умирают от голода. Где нет войн и коррупции. Где каждый ребёнок защищён, каждая болезнь предсказана, а любое отклонение замечено раньше, чем человек успевает назвать его своим.

Норд-7 — идеальная цивилизация, построенная после того, как человечество уничтожило себя собственной свободой.

Но в этом мире некому петь песни. Не для кого пахнуть утром. Здесь всё работает, но почти ничего не живёт.

Дерек Олсен — архитектор сенсорных формул. Когда-то он нарушил главный закон Баланса: попытался вернуть человеку личное чувство через запах. За это его отправили в Карьер.

Теперь он восстановлен. Под контролем. Полезен.

Пока однажды обычный рабочий профиль не вызывает у него невозможное воспоминание: молоко, кухня, женский голос и птица в клетке.

Воспоминание о жизни, которой у него никогда не было.

Баланс считает это отклонением.

Дерек начинает понимать: возможно, именно отклонение — последнее, что осталось в человеке живым.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	19

Александр Власов

Норма отклонения

Глава 1

ПРОЛОГ

Найденные записи

20 ноября

«...Связи нет третий день.

Сначала мы думали, что это временно. Все так думали.

Даже теперь кто-то ещё говорит:

— Надо просто дождаться восстановления сети.

Как будто сеть — это погода. Как будто она где-то над нами, просто скрыта тучами.

Телефоны ещё светятся.

Это хуже, чем если бы они сразу умерли.

Экран включается, показывает время, заряд, старые уведомления, фотографии людей, которым уже, может быть, невозможно позвонить. Потом появляется надпись:

Нет подключения к сети.

Сегодня к зданию администрации пришли люди из северного района города. У них нет воды. Они стояли у входа, серые от пыли, с канистрами, пластиковыми бутылками, дет-

скими ведёрками, и спрашивали, кто здесь главный.

Никто не ответил.

И это было страшнее, чем их лица.

Раньше на любой вопрос существовал кабинет, номер телефона, сайт, служба, инструкция. Даже если всё работало плохо, сама мысль о порядке ещё держала нас внутри жизни. Можно было злиться, писать жалобы, ждать ответа, искать виновных.

Теперь никто не знает, кому задавать вопрос.

В коридоре пахнет мокрой одеждой, пылью и людьми, которые слишком долго не выходили на воздух. Стёкла на первом этаже выбиты. Ветер гонит по полу серый порошок. Он забивается в складки курток, в волосы, в рот.

Когда облизываешь губы, чувствуешь металл.

После обеда привели женщину с двумя детьми. Младший был завёрнут в пальто, слишком большое для него. Лицо красное, будто он обгорел на солнце.

Только солнца почти не видно уже несколько дней.

Небо низкое, серое, будто его придавили к земле.

Женщина всё время повторяла:

— Он просто перегрелся. Он просто перегрелся.

Никто не сказал ей, что здесь воздух давно стал ледяным.

У многих рвота. Сначала мы думали, что причина — вода. Потом — страх. Потом кто-то произнёс слово «радиация», и в комнате стало так тихо, будто это слово само умело убивать.

У Видара кровь пошла из носа прямо во время разговора. Он засмеялся и сказал, что это от давления.

Никто не стал спорить.

Вечером мы слышали выстрелы.

Никто не пошёл смотреть.

Раньше я думал, что человек обязан знать, что происходит.

Сегодня я впервые понял: я не хочу знать.

Я просто хочу, чтобы завтра было утро.

Просто утро».

24 ноября

«...Я не знаю, кто это прочитает.

Может быть, никто. Может быть, бумага сгниёт раньше, чем чья-то рука найдёт её под камнем, пеплом и мёрзлой землёй. Может быть, крысы доберутся до неё раньше людей.

Может быть, людей уже не будет.

Но если ты читаешь это — значит, кто-то всё-таки выжил.

Значит, мы не до конца проиграли.

Я пишу в подвале бывшей районной администрации. Так это здание называлось раньше. Теперь у зданий почти нет названий. Есть только стены, которые ещё держатся, и стены, которых уже нет.

Над нами семь этажей бетона, стекла и чужих жизней. Иногда ночью что-то осыпается, и мы все замираем.

Никто не кричит.

Кричать здесь перестали быстро.

Крик тратит силы.

А силы теперь дороже правды.

У нас осталось девятнадцать человек.

Вчера было двадцать.

Я не буду писать, кто умер. Не потому, что мне всё равно.

Наоборот. Потому что если я начну перечислять имена, это письмо закончится только именами.

Сначала мы думали, что умирают только те, кого задело взрывом. Те, кто был под завалами. Те, кто получил ожоги. Те, кто пил грязную воду.

Теперь мы понимаем: смерть вошла сюда вместе с пылью.

Она не стучала в дверь.

Не кричала.

Не имела лица.

Она легла на одежду. На волосы. На кожу. На хлеб, который кто-то нашёл в разбитом магазине. На снег, который люди собирали в вёдра и растапливали, потому что другого источника воды не осталось.

У Ингрид выпадают волосы.

Она делает вид, что не замечает.

Собирает их с плеча, с рукава, с тряпки, на которой спит, и прячет в кулак. Будто стыдится не болезни, а того, что болезнь стала видимой.

Элиас перестал спрашивать про интернет.

Это хуже, чем если бы он плакал.

Он лежит у стены и смотрит на потолок. Иногда говорит,

что ему жарко. Потом его начинает трясти от холода. Его мать держит его руку и шепчет сказку.

На середине забывает слова.

Тогда начинает сначала.

Потом снова забывает.

Третий раз она дошла до одного и того же места и замолчала.

Элиас сказал:

— Дальше.

Она не вспомнила.

Тогда просто стала гладить его пальцы.

У некоторых ожоги выглядят странно. Не как после огня. Кожа темнеет пятнами, потом будто перестаёт принадлежать телу. Мы перевязываем чем можем. Чистой ткани почти не осталось. Лекарств мало. Врача нет. Есть медсестра, но сегодня она сама не смогла подняться.

Вода пахнет металлом.

Еда пахнет пеплом.

Даже воздух теперь имеет вкус.

Если ты читаешь это в будущем, знай: конец мира пах не серой и не дымом, как писали в старых книгах.

Он пах мокрым бетоном, кровью из носа, холодной пылью, человеческим страхом и водой, которую всё равно приходится пить, даже когда понимаешь, что она может тебя убить.

Сегодня Туве вспомнила, что неделю назад ругалась с до-

черью из-за куртки.

Дочь не хотела надевать тёплую, потому что та была «некрасивая».

Тuve кричала.

Дочь хлопнула дверь.

Потом они больше не виделись.

Тuve рассказала это так спокойно, что все отвернулись.

Не из равнодушия.

Просто своя боль занимает слишком много места.

В углу сидит мужчина, имени которого я не знаю. Каждый день он достаёт из кармана маленькую машинку без колеса.

Игрушечную.

Красную, хотя красного почти не видно под пылью.

Он держит её в ладони минут пять, потом прячет обратно.

Никто не спрашивает.

Здесь больше не спрашивают о таких вещах.

Мы боимся услышать ответ.

Мы ведь знали.

Не всё.

Не сразу.

Но достаточно.

Знали, что нас обманывают.

Знали, что те, кто говорят о мире, готовятся к войне.

Знали, что страхом легче управлять, чем надеждой.

Знали, что чужая боль становится удобной, если её показывают с правильной стороны границы.

И всё равно продолжали.

Голосовали за тех, кому не верили.

Покупали то, что нам было не нужно.

Ненавидели людей, которых никогда не видели.

Верили словам, которые подтверждали нашу злость.

Смеялись над чужой болью, если она была далеко.

Или если нам сказали, что она заслуженная.

Я не знаю, кто нажал первую кнопку.

Наверное, потом, если будет потом, об этом будут спорить. Будут искать виновных. Будут строить схемы, архивы, хронологии. Будут говорить: первый удар нанесли они. Нет, они. Нет, всё началось раньше. Нет, это была ошибка системы. Нет, провокация. Нет, ответная мера.

Я хочу, чтобы ты знал: виновные были.

Не все одинаково.

Это важно помнить.

Но почти каждый хоть раз промолчал там, где нужно было сказать.

Хоть раз поверил тому, во что хотелось верить.

Хоть раз выбрал покой вместо правды.

Хоть раз подумал:

это не моя проблема.

А потом оказалось, что чужих проблем не бывает.

Бывает только отсрочка.

В тот день небо стало белым.

Не красным, как в старых фильмах.

Не чёрным, как писали поэты.

Белым.

Сначала я подумал, что это молния. Потом — что солнце взорвалось. Потом я уже ничего не думал, потому что ударная волна выбила окна, двери, воздух и часть памяти.

Когда я пришёл в себя, мир был другим.

Не разрушенным.

Другим.

Разрушение — это когда дом падает, а ты всё ещё знаешь, что дом можно построить снова.

А тогда исчезло само чувство, что новый дом кому-то нужен.

Люди ходили по улицам с лицами, на которых больше не было будущего. Они искали детей, воду, лекарства, родственников, сигнал, указания, Бога — кто что потерял первым.

Телефоны ещё какое-то время светились.

Это было особенно жестоко.

Мёртвый мир продолжал показывать уведомления:

Служба временно недоступна.

Повторите попытку позже.

Позже?

У нас больше не было позже.

Было только сейчас.

Сейчас найти воду.

Сейчас закрыть рану.

Сейчас не замёрзнуть.

Сейчас не смотреть слишком долго на тех, кому уже нельзя помочь.

Сейчас решить, кем ты станешь, когда закон перестал смотреть тебе в спину.

Я видел хороших людей, которые стали страшными.

И страшных людей, которые вдруг оказались последними хорошими.

Катастрофа не делает человека другим.

Она снимает с него всё лишнее.

Остаётся то, что было внутри.

У кого-то — свет.

У кого-то — пустота.

У кого-то — зверь.

У кого-то — рука, протянутая другому, хотя самому нечего есть.

Сегодня Ингрид, у которой выпадают волосы, отдала половину своей воды Элиасу.

Его мать сказала:

— Не надо. У тебя жар.

Ингрид ответила:

— Ему труднее держаться.

Я не сразу понял.

Потом понял: она говорила не о воде.

О жизни.

Мы все сделали вид, что не слышали, как она после этого

кашляла в тряпку.

Если ты читаешь это в будущем, не верь тем, кто скажет, что старый мир был только злом.

Это неправда.

В нём была музыка.

Были дети.

Были книги.

Были женщины, которые смеялись на кухнях.

Были мужчины, которые чинили сломанные велосипеды.

Были врачи, учителя, садовники, инженеры, пекари.

Были люди, которые гладили чужих собак, уступали место в транспорте, выращивали помидоры на балконах, писали стихи, мыли чашки после гостей, целовали детей в макушку, держали за руку умирающих, хотя знали, что это ничего не изменит.

Были люди, которые любили так сильно, что ради этого стоило бы сохранить планету.

Мы погибли не потому, что в нас не было тепла.

Тепло было.

Только мы слишком часто позволяли говорить вместо него страху.

И привыкли.

Вот чего я боюсь больше всего.

Не смерти.

Привычки.

Человек привыкает ко всему: ко лжи, к бедности, к нена-

висти, к войне на экране, к чужой смерти, к собственной трусости, к мысли, что ничего нельзя изменить.

Может быть, именно это убило нас раньше ракет.

Ракеты только закончили работу.

Я не знаю, сколько нам осталось.

Еды мало. Вода пахнет металлом. У Ингрид лихорадка. Маленький Элиас больше не спрашивает, когда вернётся интернет. Никто не смеётся. Даже когда кто-то пытается шутить, получается звук, похожий на кашель.

Сегодня мы нашли в архивной комнате старый терминал.

Он не работает, но внутри могли сохраниться носители. Один из инженеров говорит, что если удастся запустить резервное питание, можно поднять часть локальных данных.

Медицинские протоколы.

Карты хранилищ.

Списки убежищ.

Файлы старых систем управления.

Может быть, даже один из тех искусственных интеллектов, которым раньше доверяли прогнозы, логистику и распределение ресурсов.

Странно.

Мы боялись, что машины однажды заберут у нас власть.

А теперь я думаю: может быть, страшнее было не то, что машина заберёт власть у человека.

Страшнее оказалось, что человек снова и снова отдавал власть своему страху.

Своей гордости.

Своей боли.

Своему желанию быть правым даже тогда, когда мир горит.

Я долго думал о боли.

Здесь её слишком много, чтобы делать вид, будто она ничего не значит.

Боль Ингрид не лжёт.

Боль матери Элиаса не лжёт.

Боль мужчины с красной машинкой не лжёт.

Моя тоже не лжёт.

Но я видел, как боль начинает говорить чужим голосом.

Сначала она просит воды.

Потом — справедливости.

Потом — чтобы кто-то заплатил.

Потом — чтобы у другого отняли, потому что у тебя уже отняли.

И вот тут начинается ложь.

Боль не лжёт. Лжёт право, которое она себе требует.

Если когда-нибудь после нас появится новый порядок, я прошу только об одном.

Не стройте его на мести.

Месть очень похожа на справедливость, когда смотришь на неё издалека. Но вблизи у неё всегда одно и то же лицо — голодное, усталое, человеческое.

Не стройте его и на слепой свободе.

Мы уже пробовали.

Свобода без памяти становится рынком.

Свобода без ответственности становится оружием.

Свобода без правды становится шумом.

Постройте что-то другое.

Я не знаю что.

Но если в этом другом будет голос, который станет считать быстрее нас, пусть он не верит нам слишком легко.

Пусть не верит, когда мы будем просить больше тепла для своих.

Пусть не верит, когда мы будем называть месть справедливостью.

Пусть не верит, когда мы будем говорить, что чужой ребёнок может подождать, потому что наш уже лежит у нас на руках.

Пусть он помнит: человек не становится лжецом только потому, что ему больно.

Но именно тогда он чаще всего начинает требовать для своей боли права.

Я всего лишь человек в подвале, который пишет письмо в никуда, пока над ним медленно остывает мёртвый город.

Но если ты читаешь это — запомни нас не только по нашей ошибке.

Мы были больше, чем наш конец.

Мы умели любить.

Мы умели создавать красоту.

Мы умели жалеть.

Мы умели мечтать о звёздах, даже когда не могли договориться о земле.

Может быть, однажды кто-то или что-то сможет сохранить в нас лучшее и сдержать худшее.

Может быть, это и будет называться спасением.

А если нет — хотя бы прочитай это вслух.

Не как распоряжение.

Не как лозунг.

Не как оправдание.

Как голос.

Я был здесь.

Я видел, как небо стало белым.

Я боялся.

Я виноват.

Я любил.

И я всё ещё надеюсь».

Глава 2

ЧАСТЬ I

МИР, КОТОРЫЙ НЕ БОЛИТ

Глава 1. Утренний профиль

Через сто семьдесят два года после Просьбы Норд-7 просыпался без звука.

Не было сирен, звонков, резких команд, металлического лая будильников, к которым люди старого мира когда-то привыкали так же покорно, как к усталости. Стены жилого блока медленно меняли оттенок: от ночного серо-голубого к тёплому молочному свету.

Не настоящему утру.

Настоящие утра давно перестали быть обязательными для городов под климатическими куполами.

Но достаточно похожему, чтобы человеческий мозг не спорил с началом дня.

В 06:48 вентиляционный узел подал первый поток воздуха.

Очищенный.

Влажность — сорок три процента.

Температура — двадцать один и шесть.

В воздухе была едва заметная нота свежескошенной тра-

вы, кедровой коры и чего-то прозрачного, почти водяного. Базовый профиль мягкого пробуждения. Его разработали ещё восемьдесят лет назад, потом семь раз пересчитали, трижды адаптировали под северные сектора и один раз временно запретили после жалоб на “необоснованную тоску по открытым полям”.

В Норд-7 открытых полей не было.

Были зелёные террасы, вертикальные сады, влажные стены мха в общественных коридорах, аграрные купола на нижнем уровне и панорамные экраны, иногда показывающие старые фьорды бывшей Норвегии.

Людям этого хватало.

Во всяком случае, поведенческие отчёты не показывали критического дефицита.

Дерек Олсен открыл глаза за четыре секунды до голосового приветствия.

Он всегда просыпался раньше.

Не потому, что был тревожным. Тревожность фиксировалась. И не потому, что плохо спал. Сон у него был ровный, образцовый, особенно после реабилитации.

Тело научилось просыпаться до команды.

В Карьере это спасало время.

Иногда — пищу.

Иногда — кожу на руках.

На левом запястье лежал наручный контур — тонкая матовая полоса без застёжки, почти сливающаяся с кожей.

Не украшение.

Не личная вещь.

В Норд-7 давно не носили ключей, документов, телефонов и часов. Город отвечал сам: панелью, светом, маршрутом, голосом, температурой наручного контура.

Чип находился глубже под кожей.

Контур был его видимой поверхностью.

Сейчас он отозвался холодом.

Дерек не пошевелился.

Сначала вдох.

Медленный.

Потом выдох.

Длиннее вдоха на две секунды.

Потом расслабить пальцы.

Не сжимать кисть.

Не напрягать плечи.

Не задерживать взгляд в одной точке дольше допустимого.

Не давать телу сказать системе то, что разум ещё не успел спрятать.

Это стало привычкой.

У большинства граждан контур молчал почти всегда.

У Дерека — нет.

После Карьера контур не сняли.

Его перекалибровали.

Теперь тонкая полоса на запястье реагировала раньше: не

на нарушение, а на форму намерения, из которой нарушение могло родиться.

— Доброе утро, гражданин Олсен, — произнёс голос комнаты.

Голос был женским только условно.

Мягким — тоже условно.

У Баланса не было пола, настроения, усталости или доброты. Но люди лучше реагировали на интонацию, в которой можно было узнать заботу. Поэтому забота была смоделирована.

Точно.

Экономно.

Без лишнего тепла.

— Доброе утро, — ответил Дерек.

Голос прозвучал ровно.

Он отметил это без облегчения. Облегчение тоже могло отразиться в голосе.

— Фаза сна завершена корректно. Индекс стабильности: девяносто восемь и четыре. Уровень кортизола в пределах нормы. Ночное восстановление: удовлетворительное. Микроотклонения двигательной активности: незначительные. Рекомендация: сохранить текущий режим дыхательной дисциплины.

Дерек сел на кровати.

Кровать сразу изменила угол поддержки спины.

Не спросив.

Спрос не требовался: за последние шесть лет его позво-
ночник двадцать семь раз показывал утреннее напряжение в
одном и том же участке, и система давно пересчитала опти-
мальное положение.

Комната была небольшой, но безупречной.

Белая встроенная мебель без ручек. Узкий стол, выдви-
гающийся из стены. Чашка в круглом углублении. Диспен-
сер воды. Медицинская панель. Одежда в нише, сложенная
не человеком, а механизмом, который никогда не уставал от
складок.

На стекле окна лежал лёгкий конденсат.

За стеклом поднимались террасы Норд-7.

Город не был похож на руины, из которых когда-то родил-
ся Баланс.

Он был похож на обещание, выполненное слишком бук-
вально.

Матово-белые башни соединялись прозрачными перехо-
дами. По ним беззвучно двигались люди. Не толпы — пото-
ки. Каждый поток имел скорость, плотность, направление.
Между уровнями скользили транспортные капсулы.

Ни пробок.

Ни криков.

Ни рекламы.

Ни случайной музыки из чужого окна.

Ни запаха гари, бензина, жареного мяса, мокрой шер-
сти, дешёвых духов, мусора, цветочного рынка, человече-

ской спешки.

Город пах чистотой.

Иногда Дереку казалось, что это самый одинокий запах на свете.

На нижней террасе, почти прямо под его окном, стояли берёзы.

Ровные, светлые, неподвижные в утреннем воздухе.

Даже их случайность казалась рассчитанной.

Дерек поймал себя на мысли, что берёзы за окном были самыми дисциплинированными гражданами Норд-7: не сбивались с траектории, не требовали паузы, не спорили с ветром дольше допустимого.

Система хотела от людей примерно того же.

Только называла это не послушанием, а безопасностью.

— Ваш дневной маршрут подтверждён, — продолжила система. — Сектор Синхронности. Лабораторный блок С-12. Рабочий цикл: семь часов сорок минут. Основная задача: корректировка профиля “Труд-Агро-6” для северного аграрного контура. Дополнительная задача: проверка жалоб на снижение мотивационного отклика в группе сорок два.

Дерек опустил ноги на пол.

Пол был тёплым.

В Карьере пол всегда был холодным.

Там тепло выдавалось по функции, не по телу. Вернувшись в Норд-7, Дерек первые месяцы не мог привыкнуть, что пол заботливо согревает ступни. Ему казалось, это ловушка.

Сначала тебе дают тепло. Потом измеряют, как ты боишься его потерять.

На столе включилась тонкая световая полоса.

— Утренний стабилизатор не требуется, — сказала система. — Питательный профиль доступен после завершения дыхательной нормы.

Дерек сел на край кровати, положил ладони на колени и начал норму.

Вдох.

Пауза.

Выдох.

В комнате было тихо.

Слишком тихо для жизни.

Достаточно тихо для безопасности.

Когда-то, в учебном модуле детского цикла, им показывали записи старых городов. Шумные улицы. Машины. Рынки. Люди, которые перебивали друг друга. Женщины, смеющиеся слишком громко. Дети, бегущие не по разметке. Старички, кормящие птиц у воды. Музыка из открытых окон. Полицейские сирены. Споры. Уличные торговцы. Дождь, в котором никто не измерял кислотность в реальном времени.

Учитель тогда сказал:

— Старый мир путал свободу с шумом.

Все дети записали это в учебные планшеты.

Дерек тоже.

Он был хорошим учеником.

Он долго был хорошим во всём.

Пока однажды не создал профиль, который не должен был существовать.

Не рабочий.

Не медицинский.

Не стабилизационный.

Личный.

Тогда он ещё не знал, что желание сохранить человека может быть почти таким же опасным, как желание владеть им.

Наручный контур оставался холодным.

Дерек уже не ждал удара.

Он выдохнул медленнее.

— Дыхательная норма завершена, — сообщила система.

— Отклонений не обнаружено.

На стол выехала чашка.

Тёплая вода с минеральной добавкой и слабой нотой мяты. Мята была синтетической, но хорошей. Настоящую мяту Дерек нюхал однажды в аграрном модуле ещё до Карьера.

Настоящая пахла грубее.

Не так чисто.

В ней была земля, влажный стебель, слабая горечь и что-то острое, почти злое. Синтетическая мята пахла так, как мята должна была пахнуть по мнению человека, который никогда не мял лист пальцами.

Дерек взял чашку.

Руки были спокойные.

Узкие ладони, длинные пальцы, короткие ногти. На костяшках почти не осталось следов от Карьера. Кожа восстановилась. Медицинский контур сделал своё дело.

Он сжал пальцы в кулак.

Несильно.

Только чтобы проверить.

Под кожей отозвалась старая боль: щёлочь, каменная пыль, холодная вода, трещины, которые открывались снова каждое утро.

Дерек разжал пальцы.

Чашку нельзя было держать слишком крепко.

Шрамы были не наказанием.

Шрамы были памятью, которую система не могла архивировать вместо него.

Он пил маленькими глотками, когда вентиляционный узел переключился на дневной профиль.

07:15.

“Фокус-4”.

Дерек знал этот профиль не по запаху.

По конструкции.

Короткая верхняя фаза: чистый озоновый импульс, достаточно летучий, чтобы собрать внимание за первые восемь секунд, но не задержаться в носу. Затем сухой целлюлозный аккорд — почти бумага, но без пыли, без старения, без человеческого следа. В базе — минеральный хвост с холодным синтетическим фиксатором, рассчитанным на ровную диф-

фузию в течение сорока минут.

Никакого тепла.

Никакой телесности.

Никакой памяти.

“Фокус-4” был хорош именно этим: он не трогал человека. Он собирал внимание, не поднимая тревожность выше рабочего порога и не оставляя седативной вязкости после спада. Дерек сам три года назад вносил малую правку в среднюю фазу, убирая слишком резкий металлический оттенок, из-за которого у группы инженеров возникало ощущение стерильной усталости.

Сегодня “Фокус-4” не открылся.

Он распался.

Не было озонового импульса.

Не было сухой бумаги.

Не было чистого минерального хвоста.

Он пах тёплым молоком.

Дерек замер.

Чашка осталась у губ.

Запах пришёл не как аромат.

Как место.

Маленькая кухня. Низкое утреннее солнце. Не белое, не смоделированное, не рассеянное через панель, а настоящее — чуть жёлтое, живое, с пылью в луче. На полу светлое пятно. Деревянный стул, одна ножка короче другой, поэтому он тихо стучит, если качнуться.

Где-то справа поёт женщина.

Не песню даже — обрывок мелодии, которую поют, когда думают, что никто не слушает.

На подоконнике клетка.

В клетке маленькая птица с быстрым горлом.

Канарейка.

Дерек никогда не видел канарейку вживую.

Только в учебном архиве старых домашних видов. Маленькая жёлтая птица. Содержание птиц в клетках признали этически устаревшей практикой ещё до Белого Дня. После Белого Дня это стало ещё и бессмысленным.

Но он знал этот звук.

Знал так, будто просыпался под него каждое утро.

Женщина обернулась.

Дерек не видел её лица.

Но всё внутри него потянулось к ней с такой силой, что стало больно.

Мама.

Слово пришло раньше мысли.

И сразу стало невозможным.

Его мать не пела на кухне. Его мать работала в климатическом секторе Норд-7, говорила тихо, уставала аккуратно, любила его без лишних касаний и умерла от сосудистого сбоя, когда Дереку было двадцать три.

У них не было деревянных стульев.

Не было клетки.

Не было молока по утрам.

Не было солнца на полу.

Этого утра не существовало.

Но Дерек скучал по нему так, будто потерял его сам.

Наручный контур обжёг запястье.

Чашка дрогнула.

Несколько капель упали на белый пол. Пол тут же впитал влагу, не оставив следа.

— Гражданин Олсен, — голос системы стал тише.

Тише означало опаснее.

— Фиксируется резкое отклонение эмоционального профиля. Уровень тревожности: шестьдесят четыре процента. Сердечный ритм повышен. Причина?

Дерек поставил чашку на стол.

Не слишком резко.

Резкость фиксировалась.

Он смотрел на свои пальцы и заставлял их разжаться.

— Сенсорная перегрузка, — сказал он.

Голос не должен был дрогнуть.

Он дрогнул.

Наручный контур ответил коротким теплом, переходящим в жжение.

— Уточните источник перегрузки.

— Ароматический профиль.

Пауза.

Баланс не думал в человеческом смысле. Но паузы он

оставлял, когда человеку требовалось услышать вес ответа.

— Профиль “Фокус-4” соответствует эталону. Отклонение состава не подтверждено. Возможна остаточная реакция после стрессового сна. Рекомендовано принять стабилизатор уровня два.

Дерек закрыл глаза.

На мгновение он снова слышал птицу.

Не в комнате.

Внутри.

— Подтверждаю, — сказал он. — Принимаю стабилизатор.

Правильная фраза.

Правильные фразы спасали.

В Карьере его научили: иногда послушание не имеет отношения к вере. Иногда это просто способ прожить ещё один день.

Медицинская панель открылась. Маленькая капсула легла в углубление. Белая, без запаха, без вкуса, без возможности отказаться незаметно.

Дерек взял её.

Чип отслеживал движение.

Он положил капсулу на язык, запил водой и несколько секунд стоял неподвижно, пока система подтверждала приём.

— Стабилизатор принят, — сказала комната. — Рекомендуется снизить когнитивную нагрузку в течение двенадцати минут.

— У меня рабочий цикл через сорок.

— Рабочий цикл сохранён. Ваш профессиональный допуск остаётся активным. Повторное отклонение в течение трёх часов приведёт к временному ограничению доступа к лабораторному блоку.

Вот оно.

Не угроза.

Баланс не угрожал.

Он просто сообщал форму будущего, если настоящее продолжит отклоняться.

Дерек кивнул.

Хотя системе не требовался кивок.

— Принято.

Комната снова стала тихой.

Слишком чистой.

Слишком светлой.

Слишком доброй к человеку, который только что солгал ей в лицо.

Дерек подошёл к умывальной панели. Вода вышла тонкой ровной лентой. Он подставил ладони, умылся, посмотрел в зеркало.

Тридцать девять лет.

Светлые волосы, коротко остриженные по нормативу. Серые глаза с холодным голубым оттенком. Скулы резкие. Лицо спокойное. Даже слишком спокойное.

В Карьере это было полезно.

Не показывать голод.

Не показывать злость.

Не показывать, что руки болят.

Не показывать, что ты запомнил имя надзирателя, который сказал тебе:

— Реабилитация начинается с признания собственной ненадёжности.

Дерек признал.

Шесть лет он признавал всё, что требовалось.

Он таскал каменные блоки в секторе переработки старого промышленного массива. Сортировал токсичный металл. Чистил фильтры в нижних водных тоннелях. Спал в помещении, где каждый вдох пах мокрым бетоном, железом и чужой усталостью. Ел по норме. Работал по норме. Молчал сверх нормы.

Потом Баланс признал его восстановленным.

Не прощённым.

Восстановленным.

Это были разные слова.

Прощение принадлежало людям.

Восстановление — системе.

Чип оставили пожизненно.

Формально — как меру мягкого контроля после тяжёлого нарушения сенсорного протокола: несанкционированного личного воздействия.

Практически — как постоянное напоминание: ты снова

внутри договора, но больше не полностью принадлежишь доверию.

Дерек вытер лицо.

В зеркале человек с серыми глазами выглядел спокойным.

Идеальный гражданин.

Реабилитированный.

Полезный.

Послушный.

Только в глубине носа всё ещё жило чужое утро.

Он открыл скрытую нишу у стола.

Там не должно было быть ничего личного, кроме разрешённых предметов: сменный сенсорный держатель для лабораторных пластин, запасная ткань для очистки, тонкий блокнот для несинхронизированных черновых реакций. Блокнот был разрешён специалистам Сектора Синхронности: иногда первые обонятельные ассоциации фиксировались лучше рукой, чем голосом. Потом записи сканировались и уходили в профессиональный архив.

Дерек сканировал не всё.

Это было нарушением.

Малым.

Пока малым.

Он достал блокнот.

На первой странице стояла официальная отметка:

Личные сенсорные наблюдения. Гражданин Д. Олсен. Допуск С-12.

На последних страницах, там, где бумага чуть темнела от прикосновений, были другие записи.

Короткие.

Без дат.

Он писал их мелко, почти без нажима.

Сегодня он добавил новую.

«Личная запись. Не синхронизировано.

“Фокус-4” пах молоком».

Он остановился.

Потом дописал:

«И птицей».

Ещё пауза.

Рука дрожала.

Он заставил её двигаться медленнее.

«Я не знаю этой кухни.

Я не знаю женщины, которая пела.

Но когда она обернулась, я хотел, чтобы она назвала меня по имени».

Дерек закрыл блокнот.

Быстро.

Слишком быстро.

Наручный контур слегка нагрелся.

Он положил блокнот обратно, закрыл нишу и несколько секунд просто стоял, глядя на белую стену.

Баланс мог измерить тревогу.

Мог измерить пульс.

Мог измерить влажность кожи, напряжение мышц, гормональный ответ, микрораздержку реакции, вероятность лжи.

Но Баланс не мог понять, почему человек иногда плачет не от страха.

А от возвращения домой.

Даже если дома никогда не было.

Коридор жилого блока был широким и мягко освещённым.

Двери открывались без звука. Люди выходили в утренний поток почти одновременно, каждый в своей рабочей одежде, каждый с подтверждённым маршрутом, каждый с тонкой матовой полосой на левом запястье.

У кого-то контур едва светился серым: медицинское напоминание.

У кого-то оставался глухим и спокойным.

У детей линия допуска была мягче, молочнее, почти незаметная.

Никто не смотрел на чужие запястья слишком долго.

Это считалось невежливым. Никто не толкался. Никто не опаздывал так, чтобы это стало проблемой для других. Дети шли отдельно, в сопровождении обучающих модулей. Старики двигались медленнее, но поток сам расступался перед ними, потому что система регулировала скорость пола.

Дерек на минуту задумался о том, что в Норд-7 человек принадлежал семье недолго.

Сначала — матери.

Период грудного вскармливания считался биологически полезным, и Баланс не спорил с пользой тела там, где она была доказана. Мать получала расширенный восстановительный цикл, отец или второй родитель — ограниченный допуск сопровождения, ребёнок — первые месяцы тепла, запаха кожи и голоса.

Потом начинался общий контур.

Дети переходили в воспитательные блоки, где их учили не сиротству — это слово считалось неточным, — а связи без привязанности.

Родители оставались в биографии, но не в центре мира.

Их можно было видеть, им можно было писать, с ними можно было проводить утверждённые семейные часы.

Ребёнку объясняли: медицинский контур ответит быстрее матери, стабилизатор — точнее отца, а Баланс не выберет его вместо другого ребёнка только потому, что любит.

Дети в Норд-7 не появлялись случайно.

Случайность рождения считалась одной из старых форм насилия над будущим: человек приходил в мир не потому, что система могла дать ему место, а потому, что двое взрослых захотели продолжения себя.

Баланс не запрещал рождение.

Запрет был слишком грубым инструментом.

Он рассчитывал потребность города на десятилетия вперёд: аграрные контуры, медицинские циклы, ремонтные смены, образовательные блоки, старение населения, риск внеш-

них потерь, запас адаптивности.

Когда людей требовалось больше, родительский цикл становился выгодным: расширенный жилой модуль, повышенный ресурсный лимит, мягкий график, дополнительные часы восстановления, социальный индекс доверия.

Когда людей было достаточно, ребёнок всё ещё мог родиться.

Но тогда семья брала на себя пониженный комфортный контур: меньше личного пространства, меньше кредитного допуска, более жёсткий рабочий график, долгий пересмотр маршрутов.

Не наказание.

Последствие несогласованного решения.

В Норд-7 почти всё имело последствия.

Так Норд-7 не запрещал семью.

Он делал её необязательной для выживания.

И постепенно люди учились любить так, чтобы любовь не требовала преимуществ.

На уровне сорок два всегда пахло одинаково: чистой тканью, нейтральным мылом и зелёным профилем общественного спокойствия.

Дерек поймал себя на том, что ищет в этом запахе птицу.

Не нашёл.

Испытал облегчение.

Потом — разочарование.

Это было опаснее.

У лифта стояла женщина из соседнего отсека. Лин Тар, специалист по водным микрофильтрам. Они здоровались уже три года. Никогда не разговаривали дольше сорока секунд.

— Доброе утро, гражданин Олсен, — сказала она.

— Доброе утро, гражданка Тар.

Она выглядела усталой.

Не сильно. В Норд-7 сильную усталость замечали раньше, чем человек успевал назвать её своей. Но под глазами у неё лежала тень, которую не убрал утренний профиль.

— Рабочий цикл продлён? — спросил Дерек.

Она удивилась вопросу.

Люди редко спрашивали о том, что не относилось к ним напрямую. Не из равнодушия. Из вежливости. Лишний интерес мог быть воспринят как давление.

— На двадцать минут, — ответила она. — В нижнем водном контуре повторная проверка. Ничего критического.

Она улыбнулась.

Правильной улыбкой.

Дерек вдруг подумал: когда последний раз он видел, чтобы человек улыбнулся не для снижения напряжения?

— У вас снизился мотивационный индекс? — спросил он.

Лин моргнула.

— У всех снизился.

Она сказала это тихо.

Потом сразу добавила:

— В пределах допустимого.

Лифт открылся.

Они вошли вместе.

Прозрачная капсула пошла вниз по внешней стороне башни. Норд-7 раскрылся под ними ровными уровнями, переходами, садами, водными артериями и транспортными линиями.

Красивый город.

Разумный.

Безопасный.

Построенный так, чтобы человеческая ошибка не могла легко стать бедой.

Лин смотрела вниз.

— Иногда, — сказала она неожиданно, — мне кажется, что я просыпаюсь уже уставшей.

Дерек не повернул голову.

Наручный контур был тёплым. Стабилизатор ещё работал. Он мог позволить себе паузу.

— Вы сообщили медицинскому контуру?

— Да. Мне изменили профиль сна.

— Помогло?

— Я стала лучше спать.

Она снова улыбнулась.

На этот раз хуже.

— Но вчера я после смены разобрала кухонный блок, составила график на неделю и отправила три заявки по дому.

— Это плохо?

Лин посмотрела на свои руки.

Её большой палец коснулся внутреннего края наручного контура — коротко, почти случайно.

Так люди касались мест, где система знала о них больше, чем они успевали сказать сами.

— Нет. Всё правильно. Всё вовремя.

Она помолчала.

— Только я не помню, когда решила это сделать.

Лифт шёл вниз без звука.

Дерек ничего не ответил.

Ответ мог бы стать нарушением.

Молчание тоже могло.

— Может быть, вам дадут дневной стимулирующий профиль, — сказал он.

Он говорил профессионально.

Безопасно.

— Уже назначили. “Тонус-3”.

— Эффект?

— Я успеваю больше.

— Побочные реакции?

— Нет.

Лин медленно провела большим пальцем по шву на рукаве.

— Только иногда кажется, что день уже начался без меня.

Двери лифта открылись.

Система произнесла:

— Уровень двадцать. Транспортный узел. Гражданин Олсен, ваш маршрут подтверждён. Гражданка Тар, отклонение беседы от стандартного социального обмена незначительно. Коррекция не требуется.

Лин опустила взгляд.

— Хорошего цикла, — сказала она.

— Хорошего цикла.

Она ушла влево, к водному переходу.

Дерек остался стоять на платформе на одну секунду дольше нужного.

Всего на одну.

Потом пошёл к линии Сектора Синхронности.

После разговора с Лин воздух в переходе казался ещё чище.

Он как будто опустел.

Норд-7 не ломал людей.

В этом и была трудность.

Он помогал им спать, работать, успевать, не срываться, не терять форму.

Денег в старом смысле не было.

Были электронные лимиты: жильё, питание, маршруты, личные вещи, свободные часы, доступ к видам, тишине и дополнительному теплу.

Человек не мог потратить больше, чем ему разрешено.

Опережающий ресурсный доступ получали только надёж-

ные: те, кто не скрывал отклонения, не нарушал маршруты и не пытался заменить помощь Баланса помощью своих.

Нарушитель не становился бедным.

Он становился ограниченным.

Сначала исчезали лишние маршруты.

Потом — кредитный доступ.

Потом — профессиональное доверие.

Иногда человек просто пропадал из потока.

На время.

Или навсегда.

Норд-7 не обсуждал такие исчезновения громко.

Город был построен так, чтобы отсутствие одного человека не мешало утру остальных.

И однажды человек мог обнаружить, что день действительно прошёл правильно.

Только без него.